



**В. В. РОЗАНОВ**

**Гений формы  
(К 100-летию со дня рождения Гоголя)**

Здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло решительно ничего неизвестно.

*Гоголь. Нос*

...О чем именно читал я час?.. Да, цирюльник Иван Яковлевич, проснувшись, спросил у жены свежееиспеченного хлеба, но когда разрезал его, то нашел внутри запеченный человеческий нос... В это же утро майор Ковалев, проснувшись и спрося зеркало, увидел, что его нос пропал куда-то. Вскочив как ужаленный с кровати, он встряхнулся, думая, не найдется ли нос. Но ни на простыне, ни на кровати, ни на полу его не оказалось. Нанимает извозчика и мчится к полицеймейстеру жаловаться на происшествие, — но не застает его дома. Бросается в газетную экспедицию, чтобы напечатать объявление о пропаже у него носа, но экспедитор отказывается принять такое объявление за странность. Мысленно виня во всем одну барыню, на дочке которой он отказался жениться, — едет дальше: и с изумлением видит, как из кареты вышел его собственный нос, в мундире статского советника, «в панталонах и при шпаге», и начинает гоняться за ним. Нос ускользает насмешливо, так сказать, «проведа за нос» своего прежнего обладателя, увы, теперь безносого! Обращается к доктору, но тот ни в чем помочь не может. Наконец, является добродетельный квартальный и говорит, что нос нашелся: именно, запасшись чужим паспортом, он уже готовился улизнуть в Ригу, но был арестован в то самое мгновение, как хотел сесть в дилижанс. Сперва нос не хотел пристать к месту, падая на стол, «как пробка», но, наконец, в одно прекрасное утро, пристал. Упоенный Ковалев «с носом» несется во все стороны, делает визиты, заезжает в канцелярии, пьет шоколад в кондитерских, и, словом, счастлив почти как новобрачный.

— Что же я читал, о чем? Только что прочитав, можно еще передать с именами, в обстановке и вообще в подробностях, но через некоторое время, когда имена забудутся, частности — точно так же, рассказать будет решительно не о чем. Я не о том говорю, что все это чудесно и невероятно: о чудесном и невероятном рассказано множество прелестнейших вещей, и сказок, и грез, и поэм. Я говорю о том, что тут вообще ничего нет, о чем стоило бы рассказать, что хотя на минуту возбудило бы нашу любознательность, любопытство, в каком-нибудь отношении возбудило бы наш интерес или тронуло, задело хоть какую-нибудь сторону души. Ведь, наконец, человек состоит не из одних глаз, которыми можно читать, но и из души, которая ищет чего-нибудь в читаемом. Здесь — ничего нет.

Майор Ковалев был с носом.

Потом нос соскочил со своего места.

Потом — опять вскочил на прежнее место.

Если когда-нибудь мне хотелось «чихнуть в нос» кому-нибудь, то это именно майору Ковалеву, и притом не когда он нашел его, но когда он был без носа. Ибо такого глупого носа, такого вредного носа, мешающего людям заниматься серьезными вещами, — решительно не было ни у какого человека, и само собой разумеется, что Ковалев не только *обязан* был потерять его, но для блага человечества и не должен был никогда находить его. Благопопечительное начальство не только не должно было арестовать этого носа при его бегстве, но, напротив, обязано было выпроводить его за границу, для порядка и гармонии. Ибо если у всех носы начнут выделять такие истории, а авторы примутся об этом рассказывать, то Россия обратится в сумасшедший дом, а литература обратится...

В самом деле, во что она тогда обратится?..

«Носа» Гоголя не только никто не зачеркивает в его произведениях, но и никто *не захочет зачеркнуть*, всякий *воспротивится* зачеркиванию, воскликнет: «Это — наше», «Это — дорогое нам, «с этим мы *ни за что не расстанемся*». С чем «не расстанемся»? С историею о том, как Ковалев потерял свой нос и потом опять нашел его? Ведь тут *ничего нет!* Нет *сюжета!* Нет *содержания!*

— Содержания?.. Действительно, нет! Но *форма*, но как *рассказано* — изумительно!

Этот спор или маленький диалог между двумя читателями или читателя с самим собою, справедливости которого невозможно отвергнуть, вводит нас в самую *суть* Гоголя. Что такое «Мертвые души»?

В сути это есть история о плуте: человек решился скупить документы, записи об умерших крепостных людях, конечно — скупить их за гроши, ибо умерших людей уже нет в наличности и они никому не нужны. Затем их заложить в казне, получить деньги и разбогатев, скрыться. Глава из Шерлока Холмса или приключений Люпэна.

Что такое «Ревизор»?

Рассказ об ошибке чиновников, принявших проезжего, голоштанного человека за присланного из Петербурга важного ревизора. Редкий случай, и во всяком случае пуф. Почти «Нос».

«Коляска»?.. История о том, как хозяин, к которому ехали гости, забывший о приглашении их и не приготовившийся их принять, спрятался от смущения в коляску. Они пошли осматривать ее и увидели его там в забавном положении.

Обиделись, оскорбились и уехали. Решительно — «Нос»! Знаменитая и действительно великая «Шинель» есть рассказ о том, как бедный, несчастный чиновник сшил себе новую шинель, но ее у него ограбили, сняли с плеч на улице. Он был потрясен и умер, но мертвецом стал ходить по улицам и снимать шинели с важных господ, вот с тех, которые нераспорядительностью своею по полиции не могли предупредить ограбления у него шинели. Все-таки суть «Носа» проглядывает и через этот сюжет. И Гоголь удивительным образом, почти чудесным образом никак не может переступить за схему «Носа». То есть:

Содержания почти нет, или — пустое, ненужное, неинтересное. Не представляющее абсолютно никакой важности.

Форма, то, как рассказано, — гениальна до степени, недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лермонтова.

У Гоголя невозможно ничего забыть. Никаких мелочей. Точнее, у него все состоит из мелочей, за схему мелочей, за инвентарь мелочей он не умеет переступить: но они сделаны так, каждая из них сделана так, что не уступит... ну, Венере Медицейской. Все полно такой *действительности*, такого *реализма*, такого совершенства вычерченности, на котором поистине не лежит никакого упрека. Греки подписывали под статуями: «делал» (такой-то), а не «сделал», сказывая этим о недовольстве своем, о незаконченности создания. Под всем, им написанным, Гоголь по справедливости мог написать: «сделал Гоголь». Он сам иногда проговаривается

о «последней ретуши» живописца, любит — в лирических местах — повторять о «резце художника» и «дивном мраморе, вышедшем из его рук». Это какая-то безотчетная любовь к формулам, которые так выражают его суть: у него, Гоголя, везде «последняя ретушь» и не ошибающийся резец, который режет чудотворную действительность.

Но — маленькую, пошлую, миниатюрную.

Гоголь есть весь солнце в капле воды. За это определение не преступишь. Солнце — его гений, несравненный, изумительный. Но солнце это такое особенное, волшебное, чудесническое, которое для отражения своего, для воплощения своего, для проявления себя миру ищет непременно капли, совершенно крошечной и непременно завалившейся куда-нибудь в навоз. Как только подобная вонючая капля найдена — гений Гоголя упоен и отражается в ней во всей огромности, в чудовищности своей. Тут какой-то закон. Закон сожития или симпатии. Чем выше гений Гоголя и даже чем сильнее его пафос в данную творческую минуту, тем он отыскивает для воплощения самое что ни на есть малейшее, пошлость, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие, или сон, похожий на сумасшествие. Ведь «Нос» буквально глава из «Записок сумасшедшего». Сами «Записки сумасшедшего» — где какой же сюжет? — изумительны. «Записки сумасшедшего» — это нить нескольких плетеных в одно «Носов».

Напротив, все большое, крупное, — не величественное и не преувеличенное, но именно просто большое, — все здоровое, хорошее, нормальное даже не воспринимается им. Увидев такое, он отходит в сторону, совершенно об этом не любопытствуя. «Не чувствую запаха», — говорил он о всем, если это не падаль. Но вот сыр пармезан, из которого выползают живые черви, — и тут ноздри Гоголя широко раскрываются, а лицо выражает наслаждение и жадность. Такой сыр «пармезан» его Плюшкин, Собакевич, да и все суть степени и состояния того же пармезана. Постарше сыр — погнилее, помоложе — посвежее. Но непременно, чтобы черви ползали. Они ползают около всех этих «мертвецов», сыплются из них, из Манилова, Собакевича, Селивана, Петрушки и, Боже мой, кого еще... Все, все — «Мертвые души»: как это удачно сказалось, как гениально определилось! И — выразилось... Пармезан, острый, пахучий, соленый, не забываемый... Какой-то всплеск или выплеск из вод Мертвого озера, которое поместил же Господь Бог в самом святом месте. И у Гоголя мы ни малейше не отрицаем святых,

высоких порывов, высочайшего идеализма. Но... везде ползают черви. Позволительно это в Палестине. Отчего не случится было такому в Гоголе? Встречается крупное — и это просто не интересовало его. Где хорош человек? Мать около люльки ребенка, жена около постели умирающего мужа; хорош человек в болезнях: мишура слетела, ложь отошла. В «Мертвых душах» никто не умирает, — кроме *двух строк уведомления* о смерти, кажется, прокурора, нигде мать не качает, не кормит ребенка. Детская, учебная комната — опять что-то правдивое, прямое. Но где этого нет? В каждом доме. Можно ли представить помещицью усадьбу без детей, учебной комнаты, без кормящей матери? Ведь целое «поместье»! Но как сюда нельзя было подпустить ползающего червяка, и тут решительно не пахнет пармезаном, то Гоголь просто пропустил все это мимо. Похоже на Вия.

«— Не вижу. Поднимите веки».

Но никто Гоголю не поднял век. А сам он, как и Вий же, не имел сил поднять собственных век. Гений. Судьба. Никто через судьбу свою не переступит, и гения, как и горба, никто не сбросит с себя, даже замученный им.

Гоголь представляет, может быть, единственный по исключительности в истории пример *формального гения*, т. е. устремленного единственно на форму, способного единственно к форме, чуткого единственно к форме, в ней одной, до известной степени, всеведущего и всемогущего. И — без всякой чуткости, без всякой мощи, без всякого ведения о содержании, о мысли, о «начинке». Известно, что Гоголь всю жизнь поучал. Поучал даже собственную мамашу, еще когда был гимназистом. Но в чем состояли его поучения? «Становитесь добродетельнее и слушайте божественную литургию». Это он в юности говорил и дальше этого не пошел. Его слова в описаниях о «неподвижном воздухе», о том, как жаворонок «недвижно парит в синеве неба», и то, что он никогда не описал плывущих по небу облаков, и это небо всегда у него однообразно-синее, — как-то выражает суть его гения. И в людях он не описал ни одного движения мысли, ни одного перелома в воззрениях, в суждении. Все «недвижно»... Наведет зеркало и осветит человека, изумительно осветит, — как никогда и никто не умел. Но и только. Дивный телескоп его глаза поворачивается к другому предмету, все по типу «обозрения инвентаря», следуя каталогу или словарю: а о первом предмете и он сам забыл, и читатель не помнит иначе, как только о фигуре, и во всяком случае этот освещенный человек

ни в какую связь и ни в какое отношение не входит с другими фигурами. Будьте уверены, что Селифан и в следующей главе опрокинет бричку, если вообще о нем будет упомянуто: Гоголь как заставил его раз уронить бричку, — и гениально уронить, — так и остановился на этом: больше ничего с ним не может сделать. И вышел из Селифана специалист по опрокидыванию бричек, — вещь довольно узкая и сухая. «Уж так Господь Бог создал», — отшучивается или отшутился бы Гоголь. Но, оказывается, и все другие у него такие же специалисты: Плюшкин по скупости, Собакевич по грубости, Манилов по слащавости. У Собакевича оказывается в «специалистах» даже и мебель.

«Чичиков еще раз оглянул комнату и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже в высшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах — совершенный медведь; стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: “И я тоже Собакевич”».

В клетке сидит птица. Чичиков вглядывается:

«Дрозд темного цвета, с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича» ...

— Ну, это уж слишком, — скажет читатель. Но я его поправлю.

— Почему же слишком? Разве есть женщины, похожие на Афродиту Милосскую? Но все живые женщины, какие ни есть, со своей жизнью, со своею действительностью, не сотворили того впечатления, того облагораживающего, возвышающего влияния, какое сделал и делает вторую тысячу лет этот недвижный, бездушный мрамор. Так еще бездушен ли он по этой силе своего действия, нет ли тайной особой души в формальном начале, в простых, бледных, бесцветных формах? Они бессодержательны, но прекрасны. Снимите самые верные портреты с живых женщин, пусть их рисуют Брюлов, Иванов, Репин, Серов: человечество; на минуту взглянув на них, пройдет мимо и не задумается, не вспомнит, не воспитается и не разовьется в них. А на Афродите Милосской воспитываются: об этом сказали нам Тургенев и Глеб Успенский, такие несходимые люди, несходные в направлении, во всех взглядах! И сказали через 2000 лет после того, как неизвестный художник сделал резцом это холодное тело. Гоголь делал подобное же. Афродита Милосская не думает, не желает. Она стоит. В ней нет даже смотрящего зрачка. Она вся недвижна, вот

как воздух у Гоголя. И так же и лица у Гоголя не думают, не жалятся, если не считать покупку мертвых душ, что можно счесть за предлог, за повод и придирку к написанию поэмы, вроде «потери носа» для 25 страниц другого рассказа. У Гоголя нет нигде мысли, никакой, но у него есть то, что в искусстве гораздо выше мысли — красота, оконченность формы, совершенство создания. Здесь он недосыгаем и его никто не превзошел. И как Афродита Милосская воспитывает и научает, так и Гоголь... потряс Россию особенным потрясением. Гл. Успенский, грубоватый, простой человек, записал, однако, о греческой статуе: «Она *выпрямляет* каждого, кто на нее долго смотрит»...<sup>1</sup> Возвращает к норме, к естественности, к Эдему, к Богу. «Стало легче, и я выпрямился», — говорит бедный человек, европейский человек XIX века, взглянув на греческий мрамор.

Не надо комментировать, что Плюшкин действует совершенно иначе: «Бедные мы люди! Жалкие мы люди! Как ужасен вид человека!» — заговорили обыкновенные, простые, хорошие люди, заговорили Ростовы и Болконские, Гриневы и Ларины, все обыкновенное, все действительное. Под разразившейся грозой «Мертвых душ» вся Русь присела, съежилась, озябла... Вдруг стало ужасно холодно, как в гробу около мертвеца... Вот и черви ползают везде...

«— Неужели так ужасна жизнь?» — заплакала Русь.

Чудищами стояли перед нею гоголевские великаны-миниатюры; великаны по вечности, по мастерству; миниатюры по тому, что собственно все без «начинки», без зрачка, никуда не смотрят, ни о чем не думают; Селифан все «недвижно» опрокидывает бричку, а Собакевич «недвижно» глядит на дрозда, который обратно смотрит на Собакевича. Все в высшей степени похоже на «Нос»: не о чем рассказать, ничего нет, а между тем вся Русь заметалась, ушибленная, раздавленная.

«Как тяжело жить! Боже, до чего тяжело жить!»

Гоголь, — так-таки решительно без мысли, не только у героев своих, но и у себя, если не считать «Размышлений о божественной литургии» и писем к калужской губернаторше Смирновой, — толкнул всю Русь к громаде мысли, к необычайному умственному движению, болью им нанесенною, ударом, толчком. Сейчас за ним пошли не формальные, слабые, глиняные, сравнительно антихудожественные Рудины, Лежневы, Базаровы, пошли Рахметовы и Кирсановы, выбежал Чернышевский, выскочила

«Вера Павловна» (в «Что делать?»): все это — слабо, ничтожно, все не изваяно. Но вот в чем суть: все думают, все стараются думать. Вся Русь «потянулась из жил», чтобы убежать от мертвых червяков Гоголя. Куда бежать?

— Там бессмысленное!

— Побежим к мысли!

В этом *суть*. Суть, что нет, не было мысли. Не то, чтобы в действительности ее не было: ведь были ну хоть декабристы, был ранее уже Новиков, был Радищев. Но Гоголь с чудовищной силой так показал Русь Руси. Афродита Миловская затмила живых женщин, Плюшкин задавил своего *современника* Чаадаева. От Чаадаева косточек не осталось: и Русь, читая «Мертвые души», не вспомнила даже, что Чичиков вместо Манилова *мог бы попасть в деревню* Чаадаева или Герцена, Аксаковых или Киреевских, мог заехать к Пушкину, или друзьям и ценителям Пушкина. Громада Гоголя валилась на Русь и задавила Русь.

— Нет мысли! Бедные мы люди!

— Я буду мыслителем, — засуетился Чернышевский.

— Я тоже буду мыслителем, — присоединился «патриот» Писарев. Два патриота и оба такие мыслители. Стало полегче:

— У нас два мыслителя: Чернышевский и Писарев. Это уже не «Мертвые души», нет-с, не Манилов и не Петрушка...

Всем стало ужасно радостно, что у нас стали появляться люди чище Петрушки и умнее Манилова. «Прочь от “Мертвых душ”» — это был лозунг эпохи. Уже через 10–15–20 лет вся Русь бегала, суетилась, обличала последние «мертвые души», и все более и более приходила в счастье, что Чернышевский занимался с гораздо лучшими результатами политической экономией, нежели Петрушка — алгеброй, а Писарев ни малейше не походил на Тентетникова, ибо тот все лежал («специальность»), а этот без перерыва что-нибудь писал.

— Убыло мертвых душ!

— Прибыло души, мысли!

Так как в Гоголе самом не было никакой определенной великой мысли, как он толкнул Русь вообще не мыслью, не идеями, а изваянными образами, то движение, от него пошедшее, и не начало слагаться в кристаллы мысли, не приобрело правильности и развития, а пошло именно слепо, стихийно, как слепа и стихийна вообще область красоты, эстетическая.

— Дальше от Гоголевского безобразия...



— Но куда дальше, как — никто не знал. Рельсов не было. Был туман, в который двинулась Русь, и в котором блуждает она и до сих пор. Все бегут от прошлого, но куда бежать — никто не видит. Гоголь страшным могуществом отрицательного изображения отбил память прошлого, сделал почти невозможным вкус к прошлому, — тот вкус, которым был, например, так богат Пушкин. Он сделал почти позорным этот вкус к былому, к изжитому; и кроме, кажется, Герцена, да декабристов, стало неприличным чем-нибудь интересоваться в прошлом, или говорить о чем-нибудь без усмешки, без иронии, без высокомерия. Все «мертвые души» не так хлопотливые, как Писарев, и не так блещущие талантом, как Чернышевский. Ну, ведь даже «Философические письма» Чаадаева многие ли лично читали из образованного общества, а не знают только понаслышке? много ли из образованных людей *по-настоящему* знают даже Герцена? Пушкин, как известно, лет на тридцать был совершенно забыт, «мертвая душа», которую вышвырнул из сознания общества преуспевающий Писарев<sup>2</sup>. Так как Гоголь кроме поучительного: «совершенствуйтесь в добродетели» и «любите свое отечество» ничего не имел по части идей, то вообще под давлением его авторитета общество страшно идейно понизилось, измельчало, в то же время вечно возясь с книгами и занимаясь книжными темами, чтобы не походить на Чичикова. Если бы Гоголь завещал великую идею, если бы в его «Переписке с друзьями» промелькнула хоть ниточка глубокомыслия Паскаля, психологичности Паскаля, метафизичности Паскаля, как это выразилось в его «Pensees»\*, — общество, читатели невольно *поднялись бы*, восприняв и начав развивать *дальше* эту мысль. Но что же извлечешь из «Носа», из неудачной ревизии «Ревизора», из скупки мертвых душ? Нечего извлечь. И Русь захохотала голым пустынным смехом... И понесся по равнинам ее этот смех, круша и те избенки на курьих ножках, которые все-таки кое-как стояли, «какие нам послал Бог», по выражению Пушкина (в письме к Чаадаеву). И этот дикий безыдейный хохот, — сколько его стоит еще на Руси!



---

\* «Мысли» (фр.).